

Джордж Урбан
Хью Сетон-Уотсон

НАЦИОНАЛИЗМ И ЕГО АСПЕКТЫ

1. О национальном сознании и национализме

УРБАН. Как это ни банально может прозвучать, я все же рискну заметить, что всю человеческую историю ничто так не тревожило людей, как вопрос о смысле их существования, об их месте и предназначении. Говоря иначе, человек — это существо, которому нужен высший авторитет, нужна система. Антропологи, психологи, социологи методами своих наук по-разному показали, как религии, утопии и идеологии стремятся обеспечить людям философскую позицию в жизни и помочь им меньше страшиться непредвиденных последствий собственных деяний.

Сейчас меня интересует, в какой мере эту функцию осуществляет национализм, насколько он предоставляет людям убежденность в их философской правоте. Национализм XX века заметно отличается от раннего либерального национализма, волна которого поднялась в Европе после Французской революции, чтобы вылиться в восстания 1848-49 годов. Среди нынешних западных либералов и поклонников социализма национализм или, точнее, разные национализмы белого человека вызывают если не резкое отталкивание, то, в лучшем случае, прискорбие. И на самом деле, если вспомнить, что поляки в девятнадцатом веке объявили себя (Мицкевич) "нацией Христа", возрождением которой завершатся войны в христианском мире; что русские в том же веке провозгласили о своей особой миссии на земле, предназначенной для них Богом; что итальянцы тогда же высказали свои национальные притязания, весьма напоминающие русские; что немцы, уже в нашем веке, попытались утвердить свое право на мировое господство, заявив себя наследниками тевтонов, — учтя все это, можно понять

либерально настроенных людей, которые выступают против национализма как против бессмысленного и опасного заблуждения.

Правы они или нет, может быть, в чем-то и правы, — но мир вовсе не таков, каким бы его хотели видеть некоторые благонамеренные интеллигенты. Мир не только рационален, но и иррационален, а национализм в наше время вовсе не ослабевает, и, уж тем более, не собирается исчезать. Более того, я подозреваю, что и в каждом из нас глубоко засел какой-нибудь из "национализмов", пусть хотя бы в гегелевском смысле желания "быть с тебе подобными" — в поисках какой-то общности, общего языка, коллективной защиты.

И вот мой вопрос: в чем, по-вашему, политическая и культурная значимость современного национализма? Есть ли в нем хоть что-то, способное уравновесить присущие ему деструктивные качества? Продолжает ли он традиции 1848 года? Или оказывается как бы суррогатом религии, которая все меньше влияет на современную культуру?

СЕТОН-УОТСОН. Для начала я хотел бы подчеркнуть, что национализм и национальная культура — не одно и то же. Национализм, который я понимаю как доктрину об особых правах данной нации или как движение, имеющее целью эту доктрину реализовать, не раз за последнее столетие рождал страшнейшие международные кризисы. Под националистическим флагом творились и продолжают твориться отвратительные преступления. Поэтому многие, не колеблясь, сравнивают его с раковой опухолью. Однако национальное сознание, принадлежность индивидуумов к данной национальной культуре, в которой формировались их родители и они сами, вполне естественны и невинны. Национальное сознание обеспечивает людям определенный контекст их духовной жизни, и это чувство принадлежности исключительно важно для большинства из них.

Опасность возникает тогда, когда любовь к своей нации или верность ей подменяет религию, когда нацию приписываются обожествлять. Именно с этого момента национальное сознание вырождается в опаснейшую манию. Национальное

сознание немцев начала прошлого века было достойно уважения. Это был патриотизм, основанный на фундаменте немецкой культуры. Но извращением оказался Третий рейх Гитлера, когда немецкий "Фолк" (народ) занял место Бога и во имя этого идола принялись вершить ни с чем не сравнимые злодеяния.

Что же касается современности, то можно надеяться, что нации, которые достигли высокого уровня культуры и обрели определившийся статус, докажут свою способность сотрудничать друг с другом. Пример тому — Европейское экономическое сообщество, хотя оно и несовершенно. Пока еще преждевременно ожидать, что сообщества этого типа породят такое же чувство привязанности, которое люди испытывают к своей нации или религии.

УРБАН. Но разве так уж невозможно, чтобы национальное сознание переросло в национализм? Мне кажется, что современный национализм ведет свое начало от Гердера. И, если с этим согласиться, придется признать, что при определенных условиях национальное сознание переходит в национализм неизбежно. По Гердеру, каждая нация — это замкнутый микрокосм, сконцентрированный вокруг языка и основанной на нем культуры. Каждая нация отличается от другой особыми, лишь ей присущими качествами, ибо каждая нация наделена особым духовным "началом". Будучи творением Бога, каждая нация священна.

Но Гердер предупреждал при этом, что каждая нация составляет лишь элемент общего разнообразия, который равноценен всем другим. Через нации проявляется многосторонность человеческой истории, и каждая из них вносит свой неповторимый вклад в общее величие развития человечества. При всей существенности различий, для всех наций есть один общий закон: только внутренняя сдержанность и уважение к другим приносит им счастье. "Человеческий род, — писал он, — един. Мы трудимся и страдаем, сеем и жнем, каждый для всех".

Однако учение Гердера, как часто случается в истории, было истолковано совсем по-иному. Подчеркивание Гердером уникальной, божественной природы наций звучало

в ушах людей гораздо громче его же утверждений о равенстве и об общей обязанности наций развивать цивилизацию и способствовать росту человеческого величия.

Я не буду сейчас подробно говорить о том, как учение Гердера было извращено пангерманскими и панславистскими националистами. Это известно. Вот отрывок из "Бесов" Достоевского. Сказанное в нем не только отражает превращение гердеровских идей в славянский мессианиззм, но и как бы предвосхищает становление немецкого национализма XX века.

"Народ — это тело Божие. Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего Бога особого, а всех остальных на свете богов исключает без всякого примирения; пока верует в то, что своим Богом победит и изгонит из мира всех остальных богов... Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть только единый из народов и может иметь Бога истинного... Единый народ "богоносец" — это русский народ..."

В сочинениях Гердера настолько подчеркивается национальная исключительность, божественная природа нации, так оправдывается восхождение собственной нацией, что, отталкиваясь от его убеждений, можно было с легкостью перейти от национальной культуры к крайнему национализму. И не удивительно, что оккупация Германии войсками Наполеона, а через сто лет первая мировая война послужили импульсом развития национализма, который впоследствии превратился в дьявольское орудие государственной политики.

СЕТОН-УОТСОН. Мне думается, что этот скачок вовсе не столь неотвратим. Обратите внимание на условия, при которых национализм развивается особенно интенсивно. Обычно это происходит тогда, когда элита той или иной общности, объединенной в первую очередь общей культурой, обнаруживает, что она должна защищать эту культуру от влияния иностранных поработителей. В результате она поднимается на борьбу против иностранного правления во имя национальной независимости. А если нация поделена между несколькими иностранными государствами, она, как правило,

начинает стремиться к национальному единству. Как конкретно это осуществляется на деле, зависит от целого ряда непредсказуемых факторов — от качества руководства как данного национального движения, так и правящей нации, а также от влияния третьих сил, не зависящих ни от иностранных правителей, ни от национального движения.

Яркие примеры мы находим в истории первой мировой войны. Ее непосредственно вызвало брожение наций Австро-Венгерской и Российской империй, а также Балканского полуострова. Но были и другие, не менее важные факторы, которые существенно повлияли на характер войны. Да и сама война создавала особый мир, разожгла новые страсти. И когда, наконец, пала Австро-Венгерская империя, мало кто угадывал это падение с освободительным стремлением наций. Правда, многие великие люди того времени не уставали повторять, что война покарала безправственных правителей Австро-Венгерской империи за их преступления и принесла награду благородным вождям чешского и югославского народов. Но сейчас отчетливо видна несостоятельность этих благонамеренных утверждений. На обеих сторонах были люди подлые и благородные, обе стороны были правы и неправы по-своему. Можно, конечно, утверждать, что Гитлер оказался наследником гласса-таев немецкой национальной идеи девятнадцатого века — допустим, Фихте. Но это будет верно лишь отчасти. Северно думать, что стремление немцев к единству, которое развивалось с начала девятнадцатого века под воздействием гердеровских идей, неизбежно должно было породить Гитлера. События с таким же успехом могли эволюционировать и в другом направлении. Национальное сознание вовсе не обязательно перерастает в национализм, в озлобление против других наций. Такое перерастание случается тогда, когда нация теряет перспективу, доходит до отчаяния. Но даже и после того, как национальные страсти накаляются до вражды, они все еще могут принести положительные плоды, выделив из национального движения более умудренных опытом, умеренных государственных деятелей.

Поэтому мне думается, что тезис: "национализм разрушителен, а потому национальное сознание надлежит подавлять" — совершенно неверен. Именно такая презумпция определяла

и определяет действия многих правительств. Они оправдывают свои репрессивные меры, направленные против национального сознания негосударственных, подчиненных наций в многонациональных государствах, утверждая, будто тем самым выступают проводниками более высокой цивилизации. Они считают, что не может быть несправедлива политика, направленная на нивелирование почти животного, деструктивного национализма непокорных национальных меньшинств. Но если история вообще способна чему-то учить, то один из первых ее уроков гласит, что попытки искоренить национальное сознание почти неизменно завершаются поражением угнетателя. Хотя это, конечно, вовсе не означает, будто те, кто на основе национального сознания разжигает национализм, всегда исторически правы. Но это уже иная тема.

УРБАИ. Быть может, стоило бы рассмотреть несколько примеров?

СЕТОИ-УОТСОН. Хорошо.

Вспомним Венгрию второй половины девятнадцатого столетия после компромисса 1867 года. Тогдашние ее правители были просвещенными европейцами и либералами. Они гордились венгерской культурой, которая достигла за предшествующие десятилетия огромного прогресса и продолжала интенсивно развиваться вплоть до 1914 года, и были совершенно искренне убеждены, что словаки, румыны и другие нации лишь выиграли бы, приобщившись к ней. На этом основании они считали словацкий и румынский национализм реакционным.

В Венгрии, правда, были румыны и словаки, которые настолько впитали венгерскую культуру, что практически стали венграми. Но венгры их не признавали, толкнув тем самым в лагерь ярых националистов. И эта политика подавления национального сознания невенгерских наций лишь стимулировала рост национализма, а в итоге привела к распаду самой Венгрии.

И другой пример — Канада при губернаторстве лорда Дюрнхэма в 1840 году. Оказавшись лицом к лицу с возможностью раздела Канады на англоязычную и франкоязычную территории (до его назначения там уже разразилось два восстания), лорд Дюрнхэм представил проект конституционных реформ.

Эти реформы были тщательно продуманы, и на них до сих пор покоится канадская демократия. Однако в одном из документов, обосновывая свои реформы, лорд Дюрнхэм категорически заявлял, что говорящие по-французски жители Квебека — люди примитивные, что их французский язык апахроничен, а воспитавшее их духовенство настолько косно, что лорд Дюрнхэм отказывал ему в принадлежности к какой бы то ни было культуре. Лорд Дюрнхэм считал, что французским канадцам будет только лучше, если они растворятся в более развитой, английской культуре. Но что мы видим сто лет спустя? Квебекские французы более националистичны, чем когда-либо прежде, и постоянно требуют своего отделения от Канады. Очевидно, Дюрнхэм совершенно не понял, что такое национальное сознание. Когда люди одной культуры заявляют другой, что культура последних неполноценна и поэтому подлежит ассимиляции, они не представляют, с чем решаются играть. И это совершенно независимо от того, что некоторые культуры, действительно, более развиты, чем другие. В Испании, например, миллионы басков и каталонцев за много веков успели превратиться в кастильских испанцев, вернее, были поглощены кастильцами. И все же, определенное число басков и каталонцев продолжает настаивать на сохранении своего национального своеобразия, превратившись в вопиющих националистов.

УРБАИ. Но не парадоксально ли, что принижение и поглощение "неполноценных" культур негосударственных наций оказались в девятнадцатом веке составной частью веры в прогресс, из которой вытекала возможность перевоспитывать человека, убежденности, что не только правом, но и долгом демократически мыслящих образованных людей является руководство теми, кто нуждается в таком руководстве? Сейчас, рассматривая это явление ретроспективно, мы можем сравнить его с отеческим чувством превосходства и вытекающей из него требовательностью, но так или иначе, в девятнадцатом веке необходимость и даже обязанность поглощать "неполноценные" культуры составила один из важнейших элементов философии просвещенного человека.

СЕТОН-УОТСОН. Да, это так, но следует также отметить, что либеральные политики XIX века склонны были отождествлять интересы свободы с интересами своей *собственной* нации. Это мы видели на примере поведения англичанина в Канаде. Нечто аналогичное наблюдается сейчас в Советском Союзе. Интенсификация промышленного и экономического развития на базе идеологии международного коммунизма без труда сочетается с вульгарным русским национализмом. Русифицируя узбеков, литовцев, украинцев и другие нерусские народы, советские правители хотят убедить и эти нации, и окружающий мир, будто просто "строят социализм". Говоря абстрактно, социализм можно считать более развитой формой человеческого общества, но на деле для узбеков, украинцев и литовцев он означает всего лишь русификацию. То же можно сказать и о поляках, об их реакции на советско-русский национализм. Под русским давлением поляки вынуждены были заново переписывать свою историю, доказывая, будто не было у них в течение веков более надежных друзей, чем русские. Такая фальсификация раздражала не только профессионалов-историков, но и рядовых поляков. А результат, естественно, оказался совершенно обратным задуманному.

УРБАИН. Должен признаться, что в либеральном подходе XIX века к проблемам нации многое привлекает и меня. Почему мы должны считать порочным взгляд, что отсталые культуры могут многое почерпнуть от более развитых, чтобы быстрее подняться на тот же уровень? Если это неверно, то потом неверна и идея воспитания, передачи знаний, опыта и мудрости от поколения к другому. Если все культуры равны, то почему же мы так восхищаемся Бетховеном и не слишком высоко ставим пауасский ритуал хранения скальпов?

Когда вы говорили о национализме басков, я вспомнил, что писал Джон Стюарт Милль: "Опыт показывает, что нация может слиться с другой, быть поглощена ею; и если ассимилированная нация была до этого отсталой или не совсем полноценной, для нее ассимиляция — шаг вперед. Навряд ли можно отрицать, что для бретонцев или для басков французской Наварры полезнее было приобщиться к духовному миру высокой цивилизации, войти в состав французского народа, получить

французское гражданство, а вместе с ним и равные с другими французами права и прерогативы, стать под защиту французского государства и гордиться французской силой, чем терзаться от своей неполноценности, замкнувшись в своем маленьком мирке, отгородившись от жизни мира". Таков голос классического либерализма, и мне не слышится в нем ни ноты фальши...

Как профессор вы наверняка бы только приветствовали влияние более талантливого и преуспевающего студента на менее способного и опытного. Да и вряд ли первокурсник или менее одаренный студент обидится, если его репетитором станет студент более знающий, выросший в более интеллигентной семье или с более широким кругозором.

Кстати, не вижу я ничего дурного и в том, что словаки, румыны, словинцы или хорваты подпали в XIX веке под влияние австро-венгерской культуры, которая превосходила их в музыке, литературе, науке. Это влияние осуществилось вовсе не потому, что венгерские или австрийские националисты считали свою культуру верхом совершенства. Вовсе нет. Сами венгры и австрийцы склонны были критиковать собственную отсталость, идеализируя "культурный" Запад, то есть, главным образом, Англию и Францию.

Я далек от того, чтобы одобрять советскую политику русификации, но нельзя же отрицать, например, культурного превосходства русских персонажей лермонтовского "Героя нашего времени" по сравнению с полудикими черкесами из той же книги. Вполне вероятно, что сейчас русское влияние благотворно сказывается на черкесской культуре. Совсем другое дело, когда русские пытаются — и, разумеется, совершенно безуспешно — русифицировать культуры более развитые, чем русская. Это противоречит не только либеральным теориям прошлого столетия, но и весьма далекому от либерализма учению Ленина, который признавал, что более развитая культура все равно в конечном счете преодолет менее развитую, даже если более культурное население подпадет под власть менее культурного народа. (Тут, правда, Ленин повторял Маркса, но об этом позже.)

СЕТОН-УОТСОН. Давайте еще порассуждаем об Австро-Венгрии. Австрийская культура достойна уважения. С распадом Австро-Венгерской империи исчезло нечто весьма ценное, — хотя, к счастью, не все — ибо Австро-Венгерская монархия могла стать многообещающим примером объединения нескольких наций в одном государстве. Но почему же она все-таки распалась? Потому, думается, что она не сумела устроить государство так, чтобы развивающиеся культуры негосударственных наций чувствовали себя свободно в многонациональном содружестве.

Вспомните словаков, которые были, вероятно, самым отсталым народом Австро-Венгрии. Когда венгры их завосвали тысячу лет назад, словацкое крестьянство продолжало говорить на своем языке, тогда как их феодалы говорили либо по-словацки, либо по-венгерски. Однако независимо от того, на каком языке они говорили, словацкие феодалы принадлежали к высшему классу венгерского королевства, а их крепостные жили так же, как все крепостные средневековой Европы, то есть были несвободны и бедны. С XVIII века одаренным сыновьям словацких крестьян была открыта дорога к школьному образованию. Известное число словацких юношей и раньше получало образование, но только теологическое, поскольку их готовили в священники. Теперь же к ним присоединился довольно широкий слой молодых словаков, которые учились вместе с венграми и немцами, читали венгерские и немецкие книги. В итоге они усвоили распространившиеся в то время идеи национального суверенитета, демократии и т.п. Они осознали значение своего национального языка и, пользуясь полученными знаниями, принялись за разработку литературного словацкого языка, который призван был заменить несколько разобщенных словацких диалектов. Дело это было необыкновенно захватывающим. Создать словацкий национальный язык, разработать его научно, использовать его богатства в поэтическом творчестве — все это увлекло образованных словаков. Они почувствовали потребность и долг заговорить и быть услышанными всеми, кому словацкий язык был родной. Прежде никто не утверждал, да и казалось бы абсурдно утверждать, что существует словацкая нация лишь на том основании, что около миллиона человек говорит по-словацки. Но как

только несколько тысяч из них получили европейское образование, они стали добиваться для своего народа тех же свобод, которыми пользовались в то время другие европейские народы. Словаков постепенно стали воспринимать как нацию, а словацкая интеллигенция все более твердо выдвигала свои требования как национальные. Это, наконец, встревожило венгерских государственных деятелей. Они согласны были с необходимостью улучшать положение словаков, но были не готовы предоставить им статус нации. Так зародился конфликт.

Венское правительство, со своей стороны, тоже столкнулось с проблемой культур подвластных ему негосударственных национальностей, ибо они постепенно превращались в культуры сообществ, осознающих себя нациями. Есть ли у этой проблемы решение, так и осталось невыясненным. Австрийские социалисты Карл Реннер и Отто Бауэр разработали ряд интересных идей. В частности, они предложили, чтобы центральное правительство занималось вопросами, касающимися всех граждан государства, а каждая "национальность", если пользоваться применявшимся в Австрии термином, получила полную культурную автономию, которая распространялась бы не только на национальность как целое, но и на всех представителей этой национальности, где бы они ни проживали. Например, словак, живущий в Триесте, обладал бы такими же правами в области национальной культуры, как и словак из Прешова. Его дети должны были бы иметь равную возможность получить образование на родном языке. На практике, однако, эти идеи не осуществились, ибо социалисты в Австрии к власти тогда не пришли, да и вообще решать национальную проблему оказалось слишком поздно: как только вспыхнула первая мировая война, различные "национальности" сформировались в сильные национальные движения, которые уже невозможно стало сдерживать.

УРБАН. Нарисованная вами картина напоминает историю британской и французской империй: там тоже ввели обучение колониальных народов, вследствие чего сформировалась интеллигентная, а позже и националистическая элита, которая начала добиваться суверенитета зарождающихся наций, что в итоге повело к распаду этих империй.

СЕТОН-УОТСОН. Да, об этом итоге забывать не следует. Но продолжим о судьбе габсбургской монархии. До середины XIX века распри между словаками, венграми, румынами, русинами и т.п. не были национальными. Это была борьба, скорее, между имущими и неимущими, либо между соперничающими феодалами или князьями. Иногда в этих столкновениях отражались конфликты габсбургской монархии с соседними государствами. Национализм не успел еще тогда превратиться в самодовлеющий политический фактор. Но как только это произошло, как только идея суверенитета нации, связанная с идеей демократии вообще, пустила корни в среде интеллигенции, сформировались и национальные требования, возникла настоятельная необходимость как-то их удовлетворить. Именно в этом суть проблемы: как удовлетворить национальные чаяния, которые рождаются в сфере культуры, не разрушая при этом государственной целостности? Национализм удовлетворяется только границами, которые совпадают с национальными. Однако национальное сознание ничего подобного не требует. Лишь когда оно подавляется, когда правящая нация стремится денационализировать другую, лишенную собственной государственности, национальное сознание этой последней перерастает в национализм.

УРБАИ. Ваша точка зрения, по-моему, хорошо иллюстрируется эволюцией взглядов чешского историка и политического деятеля Франтишека Палацкого. Когда в 1848 году чехов пригласили участвовать во Франкфуртском национальном собрании, которое призвано было провозгласить единую немецкую федерацию в противовес габсбургской монархии, Палацкий отказался, утверждая, что "... если бы австрийского государства не существовало уже несколько столетий, его следовало бы создать немедленно..." Палацкий полагал, что возникновение единого германского государства ослабило бы Австрию и тем самым ограничило бы возможности для малых наций австрийской империи противостоять панславистским притязаниям русского экспансионизма, как и венгерской нетерпимости. Палацкий усматривал в росте русской державы "страшное зло", великое бедствие. По его тогдашнему мнению, только сильная, многонациональная Австрия способна спасти малые нации от поглощения этим "гадким и вездесущим самодержавием" (в наши дни тут уместнее было бы говорить о "тоталитарном государстве"). Но впоследствии Палацкий стал думать иначе. Австро-венгерский

компромисс положил конец его надеждам на обретение чехами статуса равноправной нации в рамках империи. Тогда он присоединился к панславистам и чешским националистам. Именно к этому времени относятся известные слова Палацкого: "Мы существовали до Австрии, останемся и после нее".

СЕТОН-УОТСОН. Практическое удовлетворение национальных требований — задача необыкновенно сложная. Она не сводима к отношениям между выражающей национальные требования группой и национальным правительством, которое эти требования принимает или отвергает. Вмешиваются в эти отношения и другие силы, возникают трудности с законодательством. В игру вступают также экономические интересы, удельный вес которых в национальных движениях огромен.

Но при всем при том я возвращаюсь к своей главной идее: следует считаться с национальным сознанием как с фактом. Для миллионов обитателей замкнутого шара — это само собой разумеющееся, данность, через которую они себя осознают, благодаря которой могут ответить сами себе "Кто я? С кем я?" Есть, правда, — особенно в развитых странах, — люди, развившие в себе равнодушие к подобным вопросам; но есть и такие, которые переживают глубокий духовный кризис, ибо, не умея определить своего "я", они принимают метаться в поисках самоопределения между новой избранной ими нацией, либеральным интернационализмом, международным коммунизмом, Объединенными нациями и т.п. Национальная культура обеспечивает людям меру их бытия, формирует их в личность, удовлетворяя их потребность играть определенную роль в жизни, развивая и защищая язык их общения. И я совершенно убежден, что национальное сознание жизненно необходимо для психологического здоровья каждого, для нашей нравственности.

Но все же нельзя с такой же уверенностью сказать о другом: какой должна быть государственная структура, которая, с одной стороны, обеспечивала бы центральному правительству эффективность, а с другой — способствовала бы беспрепятственному развитию национальных культур. Временами мне думается, что, может быть, лучше сохранять крупные многонациональные государства, способствующие симбиозу различных национальных культур, чем делить их на множество

небольших государств, либерализм которых даже в отношении к собственным подданным внушает сомнение. В таком случае можно и пожалеть о распаде Австро-Венгерской и Британской империй. Ведь, с другой стороны, оправдалось и то, что предвидел Палацкий в 1848 году. Достаточно взглянуть на карту Европы, чтобы в этом убедиться.

2. Чему учит распад Австро-Венгрии

УРБАН. Теперь я обращаюсь к вам как к сыну выдающегося отца: как вы расцениваете роль Р.В. Сетона Уотсона и Викхама Стида, его близкого друга и помощника, при распаде Австро-Венгерской монархии? Вы, наверное, лучше других знаете, что их имена — не самые популярные у австрийцев и у венгров. С другой стороны, в государствах, которые образовались на развалинах Австро-Венгрии, они были, особенно в двадцатые-тридцатые годы, овеяны славой. Распад старейшей империи — тема интересная сама по себе, но меня в данный момент она занимает прежде всего потому, что целиком подтвердилось пророчество Палацкого: многонациональное австро-венгерское государство перестало существовать, но вскоре, после короткого периода национальной независимости, новые государства прежде негосударственных наций Австро-Венгрии, как, впрочем, и государственных в прошлом наций, подпали под власть сначала нацистской Германии, затем советской России. Причем, за исключением Австрии и отчасти Югославии, они все еще под этой властью остаются.

“Австрийская империя, расколовшаяся на несколько республик, в числе которых будут и совершенно карликовые, — какое великолепное поле для экспансии русского самодержавия”, — писал Палацкий в 1948 году. А в 1918 году, в разгар братоубийственного раскола, ни правительства Антанты, ни, тем более, отделяющиеся нации не были настолько предусмотрительны, чтобы учредить федерацию Центральной Европы. Меня удивляет, что ни господин Сетон-Уотсон, историк, ни господин Викхам Сид, редактор международного отдела газеты “Таймс”, тоже не смогли предвидеть, что наличие в центре Европы небольших соперничающих республик превратится

в источник нестабильности всего европейского материка.

СЕТОН-УОТСОН. Подходы Стида и моего отца к этому вопросу были не совсем одинаковы. Во время первой мировой войны они оба работали в британском министерстве пропаганды и оба поддерживали идею уничтожения австро-венгерской империи, которая определила официальную политику Антанты. В 1918 году у них не было разногласий насчет будущего этой империи, но пути ее раздела они представляли себе все-таки по-разному.

Сид прибыл в Австрию в начале века, после нескольких лет службы в качестве корреспондента газеты “Таймс” в Италии и Германии. Еще в молодости он пришел к выводу, что германская империя будет угрожать миру и, особенно, Великобритании. Отсюда — его убежденность в необходимости создать антигерманскую коалицию. В Италии он встретил единомышленников, хотя некоторые видные итальянцы были настроены прогермански. Сид тогда считал, что Австрия должна порвать с Германией и сблизиться с Италией. Номинально Италия, Германия и Австрия составляли Тройственный союз, но между ними имелись и очень серьезные расхождения. Поэтому Сид всячески стремился укрепить позицию Австрии в Центральной Европе, сблизив ее с Италией, а, может быть, и с Францией. С такими планами он и приехал в Вену. Несмотря на то, что Сид был всего лишь журналистом, он активно участвовал в политической жизни, разъясняя свои идеи каждому, кто готов был слушать, но в итоге убедился, что связь Австрии с Германией прочна, а изменить ее ориентацию невозможно. Он укрепился в этом мнении особенно после того, как министром иностранных дел Австрии стал Эренталь. Не рассчитывая более на тогдашних правителей Австрии, видя, как Австрия превращается в союзника Германии, Сид понял необходимость поддерживать любую силу, которая противодействовала бы этой тенденции. А такой силой были недовольные негосударственные нации, которые выступали против будапештского и венского правительств. Короче говоря, поддержка Стидом не-немецких и не-венгерских наций была следствием его

отношения к имперской Германии. Сами негосударственные нации Австро-Венгрии его вначале не интересовали.

Подход моего отца был совершенно иной. Он столкнулся с той проблемой, будучи настроен весьма проавстрийски. Мой отец считал, что Австрия была естественным союзником Британии и что их многолетняя дружба должна продолжаться. Он понимал также огромное значение Австро-Венгрии для всей Европы, так как географически она служила водоразделом между двумя самыми опасными империалистическими силами — Германией и Россией. В одной из своих ранних статей мой отец отметил, что Австрийскую империю нужно сохранить, ибо только она охраняет Европу от германского или русского империализма. Отчасти проавстрийская позиция моего отца была обусловлена его восхищением Венгрией. Он считал венгров нацией либералов, которая сражалась за свободу и отстояла ее. В 1905 году, во время своей первой поездки в Австро-Венгрию, — а это было, когда отношения между двумя частями империи были весьма прохладны, — он не знал, на чью сторону стать, так как одинаково симпатизировал обоим. Много путешествуя по Венгрии, мой отец познакомился с местной национальной проблемой. Он повстречал жителей Трансильвании, румын, хорватов и словаков, и проникся к ним большим сочувствием. Этот момент очень важен. Не забывайте, что отец мой считал себя шотландцем по национальности и британцем по гражданству. Маленькая шотландская нация, после многих жестоких войн, обрела наконец мирную жизнь бок о бок с англичанами. И он был до этого убежден, что тот же образец может быть осуществлен и в Центральной Европе. Однако увиденное в Венгрии настроило его по-иному. Венгры вовсе не воспринимали румын и словаков как равных. Более того, они пытались эти нации денационализировать, лишить их чувства общности.

В австрийской части империи положение было несколько другое. Венское правительство не пыталось онемечивать немеческие нации, но все же постоянно наталкивалось на стремления чехов, словинцев и других южных славян выйти из-под австрийского господства.

Симпатии моего отца были на стороне слабых. Он верил в возможность так реорганизовать Австро-Венгрию, чтобы

сохранить единое государство, но удовлетворить при этом национальные требования составляющих его народов. Этого не случилось. Началась война. Австро-Венгрия оказалась в стане врагов. И мой отец пришел к выводу, что политика Антанты должна быть направлена на раздел Австро-Венгерской империи. Как видите, взгляды Р.В. Сетона-Уотсона на австрийскую проблему развивались совершенно иначе, чем у Викхама Стида. Я не преувеличу, если скажу, что вплоть до 1914 года мой отец оставался верным другом Габсбургской монархии.

Кстати, югославские друзья моего отца часто его за это упрекали. Йосиф Смодлака, например, писал отцу: "Вы лучший друг Австрии, вы в лепешку разбиваетесь, чтобы оправдать австрийцев". Все это документировано в книге "Р.В. Сетон-Уотсон и Югославия", которая издана совместно загребским университетом и Британской Академией. В этой книге опубликована вся переписка отца за 35 лет, которую вел мой отец по югославским делам. Из этой переписки видно, что он был большим поклонником Франца-Фердинанда.* Конечно, с точки зрения сегодняшнего дня, учитывая весь исторический опыт, мы можем сказать, что восхищение моего отца было навряд ли оправданно, но в те годы отец надеялся, что этот наследник габсбургского трона спасет монархию. Вплоть до начала войны отец выступал за целостность Австрии, и даже в первые военные годы, хотя он и поддерживал объединение южных славянских провинций с Сербией, Трансильванией и Румынией, он все еще не был убежден в необходимости ликвидировать австрийскую монархию. Однако после провала попытки сепаратного мира Австрии с западными союзниками союзники окончательно взяли курс на раздел Австро-Венгрии. Весной 1918 года изменить такую политику было уже невозможно.

УРБАН. Полагал ли ваш отец, что после окончания войны, вместо Австро-Венгрии должен быть создан какой-то другой уравнивающий механизм в этом районе?

* Ф. Фердинанд д'Эсте (1863-1914) великий князь, наследник австрийского трона. Его убийство в Сараеве послужило Австрии предлогом начать войну против Сербии. Это стало началом первой мировой войны.

СЕТОН-УОТСОН. Разумеется. Отец и после войны сожалел о гибели габсбургской империи, считая объединение государств Центральной Европы необходимым. Он надеялся (мы знаем теперь, что и это не оправдалось), что базой такого объединения может стать Малая Антанта. Помню, еще будучи молодым человеком, я ему возражал, видя в Малой Антанте всего лишь антивенгерский союз, который не мог защитить Центральную Европу от посягательств ни Италии, ни России, ни Германии. Много позже, уже накануне второй мировой войны отец склонялся к идее объединения придунайских государств. А когда эта война началась, примерно до 1943 года, отец, вместе с членами эмигрантских правительств Польши, Югославии и Чехословакии, разрабатывал проект Центрально-европейской федерации. Но когда доминирующей силой в этом регионе стал Советский Союз, все подобные планы оказались уже беспочвенны.

Поддерживая объединение народов Центральной Европы, мой отец сочувствовал и "новым" государствам, которые возникали на развалинах Австро-Венгерской империи. Подъем словацкой нации его восхищал. Он восторгался словацкой, румынской и хорватской молодежью из крестьян, которая усердно училась, чтобы развивать свой язык и культуру. Он любил повторять, что несмотря на все недостатки мирного договора 1919 г., для развития народов Центральной Европы сделано было максимум возможного. К сожалению, как мы знаем, эти возможности сохранялись недолго: нации этого региона снова попали под ярмо, сперва — Гитлера, позже — Сталина. Но все же быстрое развитие этих наций подтверждает тенденцию, которая наблюдается на протяжении всего нашего века, — как только народы обретают свободу, начинается интенсивный рост их национальных культур, и очень быстро они входят в семью современных цивилизованных наций.

УРБАН. Взгляды Р.В. Сетона-Уотсона на национальный вопрос вы объясняете его личным жизненным опытом как шотландца по национальности и британского гражданина. И все же, насколько не сомневаясь в благородстве его намерений, я склонен думать, что он оценил положение в Австро-Венгрии не совсем верно. Мне думается, что ни в политической линии вашего

отца, ни в 14 пунктах программы Вильсона не учитывались сложные внутренние взаимосвязи, смешанный характер населения и особые традиции наций Центральной Европы. Как Р.В. Сетон-Уотсон, так и Вильсон опирались на англо-американский опыт, и их идеи можно было бы сформулировать так: "Наша история убедила нас, что народ, который управляет своими делами и самим собой, управляется хорошо, а потому мы поддерживаем право на самоопределение каждой нации". Однако нации бывшей габсбургской империи мыслили несколько иное: "Только народ, который живет в своем самостоятельном государстве, свободен, и именно поэтому мы требуем самоопределения". В первом случае предполагается, что самоуправление является предпосылкой построения справедливого, свободного и толерантного общества, тогда как во втором достижение национальной независимости просто отождествляется со свободой. И вскоре история доказала, что отождествление политической свободы с национализмом на деле означает свободу наций быть управляемыми скверно и деспотически.

Позвольте высказать еще несколько критических замечаний. Если такие наивные или не слишком образованные политики, как, допустим, Ллойд Джордж, Чемберлен или Вудро Вильсон, знания которых были чисто книжными, судили о мировых проблемах или пытались их решать, насколько им это позволял их личный ограниченный опыт, это еще можно понять. Но как отнестись к сливкам нашей интеллектуальной элиты (я бы сказал, хранителям нашей совести), когда они вступали в политическую жизнь, окончив Оксфорд или подобные же престижные университеты, с совершенно такими же шорами на глазах? И далее, простительно ли ученому детерминировать свои оценки политических событий во время войны интересами своей страны, которая участвует в этой войне?

СЕТОН-УОТСОН. Вероятно, вы правы. Но факт остается фактом: когда культурные сообщества испытывают неудовлетворенность своим положением, а наднациональный правитель многонационального государства, в которое они входят, "чужак", не может их национальных требований удовлетворить, они становятся взрывчатым веществом, которое рано или

поздно разрывает многонациональные империи на части. И я не думаю, чтобы квалификация моих коллег по Оксфорду или другим университетам могла бы что-то тут изменить.

Что же касается позиции ученого во время войны, то это вопрос не из легких. И в первую, как и во вторую мировую войну ученые не могли не принимать близко к сердцу интересы своей страны. Ведь Австро-Венгрия, действительно, была впряжена в германскую военную колесницу, и совершенно не существенно, что думали по этому поводу некоторые австрийцы, такие друзья моего отца, как Иосиф Редлих и Оскар Яши. Четверть века спустя и я мечтал о победе моей страны. Я не был настроен антивенгерски, причин для этого у меня не было. Но антинемецкие чувства у меня были и лишь недавно исчезли. Разве мог я тогда порицать Сталина, союзника, солдаты которого гибли на немецком фронте? Разве мог я тогда поверить рассказам поляков о Катыни? Тогда я им не верил и не мог верить, хотя сейчас знаю: правы были они. Разумно ли предполагать, что ученый знает все? Я, честно говоря, и на этот вопрос не могу ответить.

Теперь я снова возвращаюсь к отцу. Образ его мышления формировался не только англосаксонским опытом. Он ушел с головой в немецкую литературу XIX века. На жизнь его оказал огромное влияние опыт немецкого освободительного движения, борьбы за единство немецкого государства. Вероятно, он переоценил либерализм немцев. Но эту ошибку совершили и другие. Так или иначе, его концепции о будущем габсбургской монархии включили в себя не только англосаксонский, но и немецкий либерализм, характерные для последнего модели самоопределения. Что же касается Стида, то его планы утверждения демократии в Центральной Европе опирались, скорее, на французскую модель. Ни тот, ни другой план не был реализован. Но сомневаюсь, что именно англосаксонский уклон мышления моего отца — причина несоответствия нынешнего положения Центральной Европы ее надеждам. Была еще и французская модель, которая не отвечала реальностям Центральной Европы, и немецкая, которая, к счастью, не реализовалась, ибо оказалась сломлена стоявшая за ней сила.

УРБАИ. Решитесь ли вы утверждать сейчас, через шестьдесят лет после крушения Австро-Венгерской империи, что ваш

отец и Викхам Стид действовали хотя бы с 1914 по 1918 г. в правильном направлении?

СЕТОН-УОТСОН. Конечно, сейчас я вижу события в совершенно иной перспективе, в ином международном контексте. Во времена моего отца существовала стабильная и чрезвычайно могущественная британская империя, и он, даже не будучи павшим империалистом, имел основания думать, что белые англосаксонские доминионы останутся в составе Англии. Австро-Венгерская империя, как нам известно сейчас, была лишь первой из великих империй, которой предстояло распасться. До этого не было прецедента, если не считать, разумеется, развала Оттоманской империи. Но тогда, шестьдесят лет назад, мало кто из европейцев способен был мыслить о мусульманской империи в тех же категориях, что и о христианских. Тогда нельзя было еще предвидеть, как повлияет падение великой христианской империи и на составляющие ее нации, и на окружающие страны. Однако анализируя сегодняшний мир, нельзя не видеть, что раскол британской империи произошел совершенно иначе, чем австро-венгерской. Кроме того, прекратили свое существование и французская, и другие, менее крупные колониальные империи. Начала разваливаться и русская империя, но ее спасли большевики, сделав еще более жестокой, чем царская. Поэтому падение габсбургской империи следует рассматривать не изолированно, а как первый акт в мировой драме распада империй. Поэтому, чтобы понять, что было потеряно при крушении Австрийской империи и что получили государства, которые возникли на ее развалинах, следует помнить о более позднем опыте. И тогда не может быть двух мнений. На развалинах империй — во имя самоуправления, справедливости и добропорядочности возникали одно за другим государства с искусственными границами, с националистическими правительствами и шовинистическими идеологиями, с политической системой, весьма далекой от идеалов демократии. Феномен "малых государств", который возник в Центральной Европе в 1920-е годы, распространился затем на Южную Азию и Африку. И все же, оценивая политическую позицию отца, я, по всей вероятности, отнесусь к ней положительно. И не потому, что она приблизила нас к идеалу: я прекрасно знаю, что это не так, ибо видел

Центральную Европу, когда там преуспевал фашизм. Но чтобы оценивать ту или иную политику, нужно соразмерять ее с потребностями времени ее формирования. Австрия тогда была в состоянии войны против Великобритании, а национальные движения подрывали австро-венгерскую монархию изнутри. В последние недели войны не ориентироваться на них было бы невозможно. Если бы британское, французское и американское правительства могли заставить своих граждан продолжать носить военные мундиры после прекращения военных действий, чтобы способствовать оптимальным изменениям в Европе, эти изменения, вероятно, были бы иными. Можно было бы, например, добиться, чтобы территория за Тисой не была оторвана от Венгрии, или установить более справедливые границы для Болгарии. Но едва ли стоит об этом говорить при условиях, что Великобритания, Франция и Америка полностью демобилизовали своих солдат и вернули их на родину.

УРБАН. Да, это еще одно печальное свидетельство о качествах государственных деятелей Запада, которые несколько иначе, правда, сказались и после второй мировой войны...

СЕТОН-УОТСОН. Но это же — и свидетельство о дефектах демократии вообще. Надо признать, что в условиях нестабильного мира демократия — не самая эффективная форма правления. Черчилль это признавал, добавляя, однако, что ничего лучше никто пока не придумал. Я не уверен, что это звучит убедительно при всех обстоятельствах, что всякое авторитарное государство, при любых обстоятельствах, хуже массовой демократии. Ведь авторитарии или олигархии, в отличие от демократий, способны, по крайней мере, последовательно добиваться осуществления единожды принятых решений. А политик, который стремится сделать карьеру в демократическом государстве, вынужден действовать в соответствии с минутными желаниями избирателей, а это, признаться, не лучший рецепт.

УРБАН. Но во время войны западные демократии все-таки продемонстрировали свою способность к самодисциплине. Почему же они не умеют пожирать плоды своих побед? Почему

они неспособны сохранять такую же дисциплину, когда замолкают пушки? Может быть, поражение Черчилля на выборах перед окончанием второй мировой войны что-то прояснит в этом вопросе?

СЕТОН-УОТСОН. Согласен. Черчилль — вовсе не типичное порождение демократии. Он — выходец из аристократов, и образ его мышления отличался от рядового британца середины 40-х годов. Существенное для Черчилля не было таковым для массового мнения. Большинство политических деятелей, которые, собственно, и вершат историю, как в Британии, так и в других демократических государствах, достигают власти посредством выборов. Непосредственно вслед за окончанием первой мировой войны стоявшие тогда у власти политики мало заботились об обеспечении прочного и справедливого мира в Центральной Европе, ибо не это волновало избирателей. Общая послевоенная усталость, слабая информированность и отсутствие твердого политического руководства — а результатом всего этого оказался после военной катастрофы недостаточно продуманный мир, который послужил почвой для новых, еще более жестоких военных катастроф.

3. Советский империализм

УРБАН. В последние годы недовольство нерусских наций СССР приближается к пункту, когда под угрозой может оказаться целостность советского государства, то есть создается ситуация, подобная австро-венгерской в последние годы правления Габсбургов.

По данным последней переписи населения, удельный вес русских в СССР резко упал. Сейчас он составляет около 50%, но продолжает падать. Так что и национальная структура СССР приобретает сходство с национальной структурой Австро-Венгрии накануне распада империи (австрийские немцы и венгры составляли тогда 40% населения, а "негосударственные" нации — 60%). Каково, по-вашему, значение этих данных?

СЕТОН-УОТСОН. Прежде всего, следует отметить различие между Российской империей и Австро-Венгрией. И в прошлом, и сейчас Россия представляет собой угрозу для других стран, чего об Австро-Венгрии сказать нельзя. Это не значит, что в Австро-Венгрии в различные периоды ее истории не совершались преступления, что там не было религиозных гонений, но габсбургскую монархию нельзя сравнивать даже с Испанским королевством, она никогда и никому в Европе не угрожала. Совершенно иное дело Россия. Российская империя разрасталась как раковая опухоль, из маленького московского княжества превратившись в огромную державу от Эльбы до Камчатки, одновременно насаждая повсюду тьму.

Совершенно непонятно, почему территориальная неприкосновенность этого огромного государства-молоха должна восприниматься как священная корова международной политики. Будет только ко благу, если эта империя развалится изнутри, а входящие в нее нации отделятся, что, собственно, и случилось с Австро-Венгрией.

Я еще раз подчеркиваю, что к национальным культурам угнетенных наций следует относиться с уважением. Право национальной культуры на существование, как и право людей различных национальностей развивать культуру своей нации, столь же непреложно, как право человека быть свободным гражданином своей страны. Право украинцев или татар Поволжья оберегать и развивать свою древнюю культуру — не подлежит сомнению. Нынешняя же имперская политика советского правительства, его стремление подвести все национальные (в том числе и русскую) культуры под тотальный контроль государства и его центра в Москве, осуществляется двумя путями, и обеим этим тенденциям следует противостоять.

Во-первых, более половины населения СССР живет в условиях, в которых их право на национальное существование подавляется. И если мы действительно верим в провозглашенные нами принципы, то должны это право наций защищать.

Во-вторых, пытаюсь лишить нации права на национальное существование (что, впрочем, без геноцида вообще невозможно), советское правительство создает кризисную ситуацию, стимулируя конфликт, который подрывает устойчивость самого советского общества. А это чревато серьезной опасностью не только для Советского Союза, но и для всего мира.

Как мы должны относиться ко всему этому? Должны ли мы сочувствовать нерусским угнетенным нациям или же, стараясь сохранить целостность советской империи и привилегированное положение русской нации в ней, занять сторону имперского советского руководства? Я лично — на стороне угнетенных наций. Мы все должны сделать такой выбор. Во-первых, потому, что эти нации заслуживают уважения и симпатии со стороны свободных народов, и, во-вторых, потому что советские руководители всегда и везде выступают против наших интересов. Мы должны, наконец, осознать тот простой факт, что они и есть наши противники. Это не означает, что следует развязывать войну, чего мы не хотели в прошлом и не хотим сейчас, но мы ни в коем случае не должны способствовать укреплению их власти. Напротив, мы всячески должны стараться ее ослабить.

Поддержка сил, ослабляющих мощь противника, — разумное политическое поведение. Советский Союз так поступает всегда и повсюду, открыто и тайно. Официальные советские представители и советские агенты используют против нас любое проявление национализма — будь это одно из племен Мозамбика, которое можно вовлечь в партизанскую войну в Родезии (Зимбабве), или утонченные французские интеллигенты, ущемленность которых по отношению к Соединенным Штатам проявляется совершенно иначе, но политически в одинаковой степени используется в интересах Советского Союза. И так как любое проявление неприязни к западным странам становится оружием СССР против нас, то нелепо не отвечать тем же.

В Организации Объединенных Наций стало своего рода догмой, что *свое* правительство важнее *хорошего* правительства. Наиболее последовательно придерживаются такой точки зрения страны третьего мира. В соответствии с этой догмой население Верхней Вольты (или любого подобного региона) имеет, по мнению стран третьего мира, право на национальную независимость. Я не знаю, есть ли у населения Верхней Вольты своя национальная культура, но если есть, то она имеет полное право на национальное существование. Но по какой же причине тогда отрицается такое же право на национальное существование за узбеками? Их культура возникла более 3-х тысяч лет назад. Когда наши предки были еще дикарями, которые

бегали голышом по лесам Западной Европы, Туркестан уже был развитым культурным центром. Об этом, однако, никто и никогда с трибуны Организации Объединенных Наций не говорит. Никто еще из представителей Запада не выступил в ООН с требованием предоставить независимость узбекам.

УРБАН. В международных отношениях мы воспринимаем СССР как единое целое. И если мы примемся выступать за предоставление независимости входящим в СССР нациям, то как нации политические деятели и журналисты смогут оправдать такие два взаимоисключающие подхода?

СЕТОН-УОТСОН. Я не вижу здесь никакого противоречия. В конце концов, Советский Союз сам называет себя многонациональным государством. Советские руководители признают различия между украинцами, например, и белорусами или черкесами. Так почему об этих различиях не можем говорить мы? В международных отношениях и Соединенные Штаты и Советский Союз признают границы друг друга. Никто, собственно, и не требует, чтобы Советский Союз отказался от принадлежащих ему территорий. Но если желание отделиться выражают негосударственные нации СССР, это совсем другое дело. Внимание к нерусским нациям Советского Союза и поддержка их стремления сохранить национальную культуру, чего они не могут сделать в нынешних условиях, вовсе не подстрекаемость к бунту и отделению. Бог свидетель, что Советы полностью овладели искусством разжигать ненависть к Западу. Посмотрите, что происходит в Ирландии, и как используют Советы эти волнения в своих интересах. У них нет никакого права читать нам мораль, если мы даже напомним угнетенным нациям СССР о праве наций на самоопределение.

УРБАН. Советский Союз представлен в Организации Объединенных Наций тремя из 15 советских республик. Быть может, пришла пора нашим политикам предложить советскому правительству открыть посольства западных стран еще и в Киеве и Минске?

СЕТОН-УОТСОН. И это было бы вполне обоснованно. Можно было бы открыть посольство и в Узбекистане, ведь это очень крупная республика. Такого рода предложения уже вносились в 40-е годы, но советские правители их отвергли, а позже их как-то забыли... Однако требование о связях с союзными республиками на уровне посольств совершенно закономерно. Интересно, как реагировали бы на это русские сейчас.

Попытаемся подвести итог сказанному. Право нации быть нацией неоспоримо. Что же касается права нации на самостоятельное государство, это вопрос иной. Его решение зависит от соотношения сил между нациями в многонациональном государстве. Если согласия по этому вопросу в многонациональном государстве не достигнуто, а хотя бы одна из наций продолжает стремиться к отделению, то создание ее независимого государства зависит от ее способности этого достичь. И все же, право нации быть нацией еще не означает, что каждая из них должна иметь независимое государство, даже если ей удастся добиться независимости при помощи силы. Право наций на национальное государство не следует возводить в догму, тогда как право наций на национальное существование — их неотъемлемое право.

УРБАН. Если бы я в беседе с вами представлял Советский Союз, а выступали бы мы перед англо-американской аудиторией, то, пытаясь завоевать расположение публики, я вовсе не ссылался бы на ленинскую национальную теорию, а просто ограничился замечаниями вроде такого: "В XIX в. некоторые историки, например, Актон, отчетливо различали связь личности с его расой или нацией — чисто физическую связь, и связь человека с государством или политической нацией (то есть нацией, право которой на независимое национальное государство признается. — *Ред.*), понимая эту связь как нравственную. Биологическая связь личности с ее нацией преобладала в первобытном, но потеряла значение в цивилизованном обществе.

Цивилизация как бы требует признания личностью верховного авторитета государства или политической нации, так как только в горниле государства противоречивые и эгоистические интересы людей одной национальности трансформируются в гармоничное единство на благо государственной нации, а в

конечном счете — всего человечества. Именно исходя из этого либералы XIX в. верили, что сосуществование нескольких наций в одном государстве представляет собой гарантию их свободы". На этом месте мой воображаемый советский представитель может привести цитату из книги Актона: "Там, где национальные границы совпадают с политическими, общество перестает развиваться, а нация оказывается в положении человека, который отказывается общаться с другими людьми... В рамках государства со временем может сформироваться и нация, но убеждение, что нация может образовать государство, противоречит природе современной цивилизации..."

Нашему советскому собеседнику может показаться, что этим он почти выиграл спор, и он будет продолжать так: научный социализм — это высшая ступень по сравнению с буржуазным либерализмом, советское государство — это усовершенствованная "политическая нация" Актона, а советский гражданин — представитель этой новой политической нации, советского народа. Законы сосуществования наций в советской "политической нации" гарантируют каждой нации и каждому гражданину, проживающему под тотальным контролем социализма, полную свободу. А закончить свое выступление этот советский политик может еще одной ссылкой на Актона: "Самым опасным противником наций (понимай — национализма) является современная теория национальности. Утверждая, что государства должны быть равновелики нациям, эта теория на практике ставит в неравноправное положение все нации, входящие в состав многонациональных государств... и способствует истреблению неполноценных рас, их порабощению или лишению всех прав".

Приблизительно так мог бы гипотетический советский представитель говорить в *западной, немарксистской аудитории*. Вернувшись, однако, в Москву, он снова будет повторять стандартные ленинско-сталинские формулировки о советской власти, "национальной по форме и социалистической по содержанию", и о том, что ассимиляция этнических групп и их языков крупными нациями, говорящими на распространенном языке, происходила еще до создания социалистического государства, так как массовое капиталистическое производство и капиталистический рынок стремятся к унификации, — в том числе, и национальной.

СЕТОН-УОТСОН. Вы великолепно справились с ролью советского политика. Я, однако, опасаясь, что мой ответ на высказывания Актона будет очень прост: его концепция истории — неверна. Я допускаю, что такая оценка Актона может шокировать. Доказательство моего утверждения потребовало бы много времени, и это никакого отношения к теме нашей с вами беседы не имеет. Лично я с большей серьезностью отношусь к доводам, которые приводят советские представители. Вот один из таких доводов: нации Советского Союза и Восточной Европы — "социалистические нации"; их руководители — дети рабочих и крестьян; по характеру эти нации отличаются от "буржуазных", которые начинали национальное движение. И это верно. Правительства, управляющие Советским Союзом и странами Восточной Европы, в основном состоят из людей именно такого социального происхождения. Но, тем не менее, отношение нынешних венгров, поляков и узбеков к русским мало чем отличается от отношения их буржуазных предшественников. По пылешнему национальному сознанию поляков, венгров и узбеков не похоже, что они воспринимают советскую империю как государство, культура которого качественно превосходит их национальные культуры.

Второй довод советских представителей, к которому и я отношусь серьезно, заключается в том, что с 1917 г. нации СССР добились колоссального экономического прогресса, повысилась и уровень их образованности — иными словами, советский режим построил для людей фабрики и школы, принес тем самым большую пользу. Все это правда. Но советские правители ошибаются, полагая, что за это нерусские нации будут благодарны своим русским хозяевам. Узбек рассматривает улучшение своей жизни как результат своего труда и проявления положительных качеств своей нации, считая при этом, что прогресс был бы еще больше, если бы на шею узбеков не сидели русские. Весьма вероятно, что узбек этот неправ, по его чувства именно так, точно так же, как у индуса, находившегося под британским господством. Так что советская империя подпадает под действие одного из важнейших законов истории (закономерностей исторического развития, как предпочитают говорить русские) — ЗАКОНА КОЛОНИАЛЬНОЙ НЕБЛАГОДАРНОСТИ. Что же касается приведенного вами

выражения Сталина, то, по-моему, его следует исправить в соответствии с действительностью следующим образом: Советский Союз — это государство социалистическое по форме и империалистическое по содержанию.

4. Усвоят ли народы Африки урок из истории европейского национализма?

УРБАИИ. Вы уже говорили, что в наше время накоплен большой опыт насчет того, чем чреват распад великих империй и чего в период развала габсбургской монархии даже не предполагали. Я предлагаю продолжить эту тему, имея, однако, в виду, что многие дальновидные историки, как только увидят, что мы пользуемся недостаточно убедительными аналогиями, обвинят нас в предвзятости.

СЕГОИ-УОТСОИ. Мы действительно можем сравнить распад Австрийской империи с трансформацией Британской, Французской, Голландской и Португальской империй. Конечно, аналогии всегда относительны, но я постараюсь доказать, что имеется достаточно надежная основа, по крайней мере, для некоторых аналогий. Одна из них касается государств, возникающих на территориях бывших империй, другая — внутривнутриполитического развития метрополий после падения империи (Австрии, Англии, Франции).

Развитие Центральной Европы после распада Австро-Венгрии характеризуется непрерывными конфликтами между странами, которые возникли на ее развалинах. Не все они были подлинными нациями-государствами, поскольку многие включали в себя крупные национальные меньшинства. Однако они были националистами в том смысле, что возглавлялись националистами. Эти националистические правительства враждовали друг с другом, чем впоследствии воспользовался Гитлер.

Нечто подобное наблюдается сейчас в Африке. Есть, конечно, и различия. Новые вновь возникающие африканские государства, которые складываются на месте колоний, охватывают под одной властью множество разноязычных племен. У этих племен может в недалеком будущем развиться национальное

сознание, и тогда они начнут добиваться самоопределения вплоть до отделения. Для примера можно вспомнить Заир и Анголу. Но сейчас говорить о подобной возможности еще преждевременно. Показательно в этом отношении Сомали, где национальное движение сомалийцев поразительно похоже на движения румын и сербов перед первой мировой войной. И движение сомалийцев направлено на объединение нации. Часть сомалийцев попала под власть Эфиопии, другая — под власть Кении, а возникшее сомалийское государство стремится их объединить, аннексируя территории, на которых сомалийцы составляют национальные меньшинства.

Политика Эфиопии при императоре Хайле Селасия была, в сущности, совершенно такой же, как политика Венгрии при Двойственном Союзе, если "мадьяризация" заменить в данном случае "амхаризацией" (амхарийским называют язык доминирующей в Эфиопии нации). Да и сейчас, хотя там царит хаос, все же обнаруживает себя стремление навязать амхарийскую культуру другим народностям, населяющим Эфиопию. В Нигерии положение как будто бы иное, но и там мы обнаруживаем аналогии с Центральной Европой после распада Австро-Венгрии. Как и в других африканских государствах, население Нигерии состоит из множества разноязычных племен, среди которых есть несколько крупных и выделяющихся развитой культурой. Несколько лет назад конфликт между племенами вылился там в гражданскую войну, в которой погибло около 2 млн. человек. Победило, как известно, центральное правительство, которое поддерживали и Соединенные Штаты, и Великобритания. Почему? — вы спросите. Потому, думается, что чрезвычайно трудно понять ситуацию в государстве иного типа, чем собственное. В Великобритании общественное мнение по этому вопросу формировалось, в основном, под влиянием сильного лобби, которое состояло из бывших чиновников по делам колоний и других людей, которые имели опыт работы в колониях. Все они воспринимали Нигерию с ее 50-миллионным населением (сейчас там уже около 80 млн.) как наследие Британской империи, которым они гордились. С начала нашего столетия, Англия сильно влияла на развитие этой страны. Англичане выработали для Нигерии федеральную конституцию, а затем предоставили ей независимость. Единая Нигерия, по их

понятиям, воплотила их успех, гармонию, как они ее понимали. Что же касается американцев, то они приветствовали насильственное объединение народов Нигерии, а тем самым и подавление Биафры, но совершенно иными мотивам. Американские представления о государственности все еще питаются воспоминанием о гражданской войне Севера против Юга. Отделение, в свете этого опыта, выглядит как явление отрицательное по самой своей сущности. Вождь сепаратистов Биафры воспринимался американцами как своего рода черный Джефферсон Дейвис.* Его следовало разгромить, чтобы устранить угрозу государственной целостности. Таким образом, неприязнь и Великобритании, и Соединенных Штатов к независимой Биафре диктовалась глубоко укоренившимися в этих странах стереотипами мышления. Поэтому, после того, как Биафра была разгромлена и учреждено центральное правительство, англоязычный мир верил, что правительство единой Нигерии отнесется к побежденным с великодушием, а нигерийская проблема будет полностью решена. Однако сравнивать Нигерию с Соединенными Штатами 1860-х годов, разумеется, абсурдно, ибо белые американцы Севера и Юга принадлежали к одной нации, хотя казалось, что живут они в разных эпохах. А племена нынешней Нигерии резко различны. Здесь победа центрального правительства не гарантирует спокойствия в будущем. Центробежные силы могут снова возобладать, и тогда, что весьма вероятно, Нигерию постигнет судьба Австро-Венгрии.

УРБАН. Но неужели история европейского национализма не послужит отрезвляющим уроком для народов Африки, неужели африканцы ничего не извлекают из опыта наших братоубийственных войн? Герцен как-то сказал, что история человечества — это хронология несправедливостей, ибо потомки могут воспользоваться плодами опыта предков, не прилагая при этом никаких собственных усилий.

* Джефферсон Дэвис (1808-1889), президент конфедерации Южных Штатов Америки, которые хотели отделиться от Севера. — *Ред.*

СЕТОН-УОТСОН. Надеюсь, что события подтвердят слова Герцена, но пока до этого далеко. Образованные африканцы весьма искаженно представляют себе проблемы, которые были порождены европейским национализмом, ибо знают, о них примерно то же, что и англичане, французы или португальцы, то есть, в сущности, не знают ничего. Вы ведь знаете, как мало внимания уделяется истории Центральной Европы в английских или бельгийских средних школах! В лучшем случае, знания африканцев на этот счет поверхностны и поверхностны. Большинство же вообще ничего не знает о Центральной Европе, что, однако, не мешает африканским националистам кричать об ужасе вероятной "балканизации" Африки. Об этом, например, часто говорил Нкрума, когда был правителем Ганы. По-видимому, африканские политики думают, будто их нации достаточно развиты, чтобы не опуститься до уровня таких балканских государств, как Болгария, Сербия и др. Но, говоря по совести, если бы современные африканские государства хотя бы наполовину приблизились к тому, как управлялись Болгария или Сербия до второй мировой войны, это было бы большим достижением. Переход разноязычных африканских племен в нации только начинается. Поэтому, как мне кажется, идеи, которые выдвигались в Австрии Отто Бауэром и Карлом Реннером, могут еще оказаться полезны для Африки. Поскольку сейчас племенное сознание еще не развилось до национального, достаточно умные государственные деятели имеют еще возможность удовлетворить чаяния африканцев, введя культурно-национальную автономию того типа, о котором говорили Бауэр и Реннер. Тем самым можно было бы еще примирить эти племена с центральным правительством.

УРБАН. Но будем справедливы к африканцам. Ведь следует признать, что практическое усвоение уроков истории Габсбургов предполагало бы такой культурный скачок, который не сумела совершить ни одна нация — даже японцы, способность которых преодолевать культурные барьеры огромна. Даже сами нации Центральной Европы все еще не освободились от своего прошлого: румыны все еще враждуют с венграми, словаки — с чехами, сербы — с хорватами. А усвоить уроки

совершенно иной цивилизации намного труднее. Возможно, африканцы легче бы поняли кочевные племена печенегов и уйгур, которые в VIII веке уничтожали народы Восточной Европы. Можем ли мы ожидать, что они усвоят уточненные идеи европейских социалистов Бауэра и Реннера?

СЕТОН-УОТСОН. Конечно, это не просто. Но среди африканских политиков есть достаточно опытные. Есть в Африке и интеллигенты, которые способны вникать в сущность проблемы. Вовсе не обязательно реализовывать в Африке проекты Бауэра и Реннера, но было бы полезно о них знать, чтобы выработать собственное решение. Это много разумнее, чем подчиниться советскому господству и попасть в советскую империю, при которой роль жандармов Африки играют кубинцы.

УРБАИ. Национализм — широкое понятие. В разные эпохи, в разных государствах он рядится в самые разнообразные идеологические одежды. Вы сами писали об отличиях либерально-демократического национализма начала и середины XIX в. от национализма, который охватил Европу на переломе XIX и XX вв., породив, вероятно, две мировые войны и ослабив Европу в целом. Учитывая эти ваши характеристики национализма, можно, думается, сказать, что нынешние африканские освободительные войны близки, скорее, к европейским событиям 1848 г. Африканцы выступили одновременно и против иностранного владычества и за демократизацию своих обществ. Можно ли сделать такой вывод из ваших работ?

СЕТОН-УОТСОН. Нет. Чтобы прояснить проблему, давайте вспомним главные этапы развития национализма. По-вашему, национализм был "положительным" до 1848 г., а позже сделался "отрицательным". Действительность много сложнее. В первой половине XIX в. национальные движения воодушевлялись либерализмом, то есть принципами — почти идеологией — свободы индивидуума. Еще около 1870 г. вожди национальных движений искренне верили, что гражданская и национальная свободы неделимы. Таков был либеральный национализм XIX в. Его героем можно смело назвать Гарибальди. Потом в

политический процесс начали вовлекаться широкие массы. Избирательных прав добились новые общественные слои; распространились социалистические идеи; укрепились социалистические партии. Либеральные олигархии постепенно замещались государствами массовой демократии. В этот период вожди национальных движений начинают больше заботиться о судьбах масс, чем о свободе индивидуума.

Между первой и второй мировыми войнами национализм преобразился. В Европе, когда казалось, будто побеждает фашизм, националисты усвоили его идеологию. А в колониях — Азии и Африке — национализм превратился по сути своей в антибританские и антифранцузские движения. Вожди его, например, Насер и Садат, как и другие молодые египетские офицеры, смотрели на Германию и Италию как на освободителей. Подобные же настроения разделяла и партия "Индийский конгресс" и еще более откровенно националисты Юго-Восточной Азии, которые связали свои чаяния с союзником фашистских государств Европы — Японией.

После поражения фашизма антиколониальные движения возникли также и на территориях южнее Сахары. Но теперь националистические силы, потеряв поддержку разгромленных фашистских государств, которые воевали с колониальными державами, принялись ее искать у победившего Германию Советского Союза. Лидеры национальных движений усвоили марксистские лозунги, которые они, кстати, и не понимали, а сами движения приобрели марксистскую — вернее, квазимарксистскую окраску.

Итак, сейчас мы наблюдаем четыре вида национализма — псевдолиберальный, псевдомассоводемократический, псевдофашистский и псевдокоммунистический.

Теперь Советский Союз обучает арабских и африканских партизан. Он поставляет им оружие и советников. Причем, не только партизанским движениям, но и уже получившим независимость государствам. Взамен африканские вожди декламируют марксистские фразы и рассуждают об "африканском социализме". Советские марксисты, конечно, над этим в душе смеются, но и эксплуатируют сполна. Будучи, действительно, ленинцами, реалистами, они понимают, что антизападный национализм народов Африки изготовлен будто по их заказу.

Когда изучаешь последние этапы развития национальных движений, трудно определить, где кончается псевдофашистский национализм и начинается псевдокоммунистический. Оба эти направления пользуются теми же методами, которые усвоили европейские фашисты 20-х-30-х гг. XX в. — допустим, Железная гвардия в Румынии или илашисты в Венгрии. И коммунисты, и фашисты апеллируют к самым глубоким инстинктам местного населения, демагогически оперируя лозунгами социальной революции и расового превосходства. Африканцы, правда, не имеют возможности преследовать евреев, но зато в Африке есть китайская диаспора, а также торговцы из Греции и Ливана. Они-то и используются для роли африканских евреев. Вопреки напавшей на себя маске марксистского "социализма", националистические движения Африки и Ближнего Востока все ярче обнаруживают себя как движения фашистские.

УРБАН. Учитывая подобные проявления национализма, как вы оцениваете польские и венгерские события 1956 г. или чехословацкие — 1968 г.?

СЕТОН-УОТСОН. Эти события с тем, о чем мы только что говорили, ничего общего не имеют. Выступая против последней в современном мире колониальной империи, — а именно, советской, — они тем самым восстанавливают тот тип либерального национализма, который представлял Гарibaldi. И в Венгрии 1956 г., и в Чехословакии 1968 г. можно найти черты сходства с национальными движениями 1848 г. И в этом нет ничего неожиданного. При Меттернихе люди так же страдали от отсутствия политических свобод, как и под властью Ракоши и Новотного. Несколько упрощая, мы можем прийти к такой формуле: когда национальное движение направлено против западного парламентарного режима, оно оказывается либо полуфашистским, либо полуккоммунистическим. Когда же оно борется против тоталитарного режима, оно проявляет себя как либеральное. Однако надо признать, что не столь уж очевидно, насколько решающей была роль национализма в событиях 1956 и 1968 гг. Скорее всего ее преувеличивают сами русские. События 1956 и 1968 гг. в Венгрии и Чехословакии, как и

в 1848 г. начались с требований конституционных прав, свободы личности, социальной справедливости. В обоих случаях движения вылились в национально-освободительные лишь после советской интервенции, которая вызвала массовый взрыв протеста, возбудила национальные чувства и антирусские настроения. Венгерская и чехословацкая революции были по своему существу не национальными, а социалистическими. Они стремились воскресить поруганные советским империализмом либеральные ценности.

УРБАН. Можно с вами согласиться, когда вы настаиваете на различиях между национальными революциями под расистско-коммунистическими лозунгами и национальными революциями под лозунгами либерализма. Но какой же вывод можно из этого извлечь? Что "демократия рождает тиранию, а тирания — демократию"? Но чем это отличается от известного тезиса, что история движется по спирали?

СЕТОН-УОТСОН. Конечно, это не ново, но напомнить об этом следует. Важно не забывать, что национализмы бывают разные, что о национализме нельзя судить вообще — к "добру" он или к "худу". Нужно об этом напоминать, потому что в наше время даже очень образованные западные интеллектуалы недостаточно ориентируются в этих вопросах. Я уже не говорю о западных политиках. Вы сами это прекрасно знаете. К тому же я не могу согласиться с утверждением, будто "демократия рождает тиранию". Впрочем, обсуждение этого вопроса отвлекло бы нас слишком далеко от обсуждения нашей темы.

5. Маркс и советская империя

УРБАН. В последней вашей книге "Нации и государства" идея нации предстает как нечто неизбежное, раз и навсегда данное: "Нации не могут отказаться от собственной истории, а индивидууму не дано выбирать, к какой нации себя отнести". Это утверждение вызывает сразу два вопроса: 1) подтверждается ли оно фактами жизни и 2) если речь идет не о фактах, а всего лишь о нравственной позиции, которую устанавливает для

себя сам историк, должны ли мы с ней соглашаться? На первый вопрос вы ответите без труда. Он ясен. Что же касается второго, то я его несколько уточню. Вероятно, я ошибаюсь, но ваш тезис напоминает слова Гегеля "Die Weltgeschichte ist das Weltgericht," то есть "что действительно, то и разумно". В Ветхом Завете очень последовательно можно проследить идею возмездия, согласно которой за грехи отцов должны расплачиваться дети: ни нации, ни индивидуумы не в силах избежать предначертанной им судьбы, хотя они ее не избрали и не на них лежит ответственность за деяния прошлого. Эта идея чужда христианству, ибо несовместима с жертвой Христа, который взял на себя чужие грехи и искупил грехи и наций, и отдельных людей. Только теологи-кальвинисты, вероятно, поддерживают библейскую доктрину предопределенности. Но, согласившись с ней, мы себя обезоружим, ибо согласимся, что известные особенности данной национальной жизни, как и судьбу нации переделать невозможно. Именно так возникает порочный круг национальной вражды и отчужденности, из-за которого свершалось много зла в прошлом, как, впрочем, и продолжает совершаться в наши времена. Например, сейчас широко распространено мнение, будто советская система больше русская, чем коммунистическая, ибо основана на русской покорности и преклонении перед силой. Почти 2000 лет на евреях лежала коллективная вина за распятие Христа, и только после истребления 6 млн. евреев нацистами католическая церковь отказалась от этого обвинения. Продолжая в таком ключе, можно утверждать, что немцы, которые даже еще не родились в гитлеровские времена, повинны в действиях своих отцов. А кровавые избиения в Северной Ирландии можно тогда приписать темным проявлениям своеобразной ирландской психики, которая все еще живо реагирует на вражду протестантов и католиков, которая имело место 300 лет назад.

Как нации или индивидуумы смогут начать новую страницу своей истории и жизни, если признать, что им никогда не очиститься от мнимой или действительной вины своих предков? Конечно, историк должен описывать и объяснять прошлые деяния людей, но разве не должен он открывать нациям, как им оторваться от прошлого, а отдельным людям — что у них остается выбор даже относительно своей национальной принадлежности?

СЕТОН-УОТСОН. Вы затронули одну из сложнейших проблем. Я вовсе не утверждаю, что нации до бесконечности несут на себе клеймо своих предков и должны привлекаться к суду за прошлое. Пример отношения католической церкви к евреям очень удачен именно потому, что концепция коллективной вины евреев за распятие Христа явно абсурдна. Но не менее абсурдно считать всех немцев наследием зла лишь на том основании, что Гитлер был одержим дьяволом. В моей книге, которую вы только что цитировали, я хотел лишь напомнить, что историческое прошлое нации существовало фактически и что нациям не следует предавать его забвению. Нельзя, конечно, требовать от всех представителей данной нации глубоких исторических познаний, нельзя требовать, чтобы они корректировали свое поведение неустанными воспоминаниями о прошлом. Но каждый должен быть готов к тому, что прошлое, за которое мы, естественно, не в ответе, способно положить печать и на нашу личную жизнь, и на жизнь нации, овладевая ими подобно року греческих трагедий.

Вспомним опять-таки Германию. Немецкое прошлое — это картины Дюрера, музыка Баха, победы Фридриха Барбароссы и варварская культура, которую открыл за Рейном Тацит и описал в своей "Германии". Все это вошло в немецкую культуру, формировало ее. Гитлер в этой мозаике — всего лишь один кусочек смальты. Еще в середине XIX в. — т.е. не так уж давно — окружающий мир воспринимал Германию как конгломерат мелких княжеств, населенных милыми, безнадежно непрактичными, мягкими людьми, с которыми, потягивая вино, можно часами рассуждать о философии.

Естественно, немцы тогда никому не угрожали, ибо не были организованы, а их немецкое государство не было единым. В те времена мир страшился другого народа — сильной, великолепно вооруженной Франции!

УРБАН. Позвольте напомнить бальзаковского месье Германа из "Красной гостиницы": "Это был благодушный, толстый немец, человек образованный и со вкусом, заядлый трубочкур, с великолепной чисто нюрнбергской широкой физиономией, которую осеняли белокурые жиденькие кудряшки, падавшие на крутой, порядком облысевший лоб. Он представлял собой

достойный образец сыновей целомудренной Германии, которая избилует почтенными характерами и по-прежнему живет мирно-любиво, даже после семи нашествий...”

СЕТОН-УОТСОН. Именно так воспринимали немцев вплоть до времен Бисмарка. Потом, конечно, наши представления о Германии совершенно изменились, но не надо забывать, что в различные эпохи национальной жизни выступают на передний план различные аспекты. Современные немцы совсем не упоминают немцев Третьего рейха, но все же Гитлера уже не изъять из германской истории, и невозможно сделать вид, будто нацизма не было.

В истории каждой нации можно найти нечто позорящее. Шотландцы вплоть до XVII в. были дикими и кровожадными варварами. Современная французская нация сформировалась в результате покорения северными французами южан. Эти завоевания, начатые в XIII в., сложились в длинную цепь войн, равных которым по жестокости было не столь уж много во всей истории человечества. Армии северо-французских королей расправлялись с врагом с такой свирепостью, что войны Бисмарка выглядят на этом фоне как званый чай в пенсоне благородных девиц. Но тем более было бы несправедливо утверждать, что шотландцы, или немцы, или французы по традиции, по природе своей варвары, которым присущи низменные страсти. Ведь, в конечном счете, все мы — наследники нашего национального прошлого, хотим мы того или нет. Мы должны о нем помнить, но отнюдь не оставаться его пленниками.

УРБАН. Прошлое, как вы говорите, составляет богатство каждой нации, откладываясь в ее традициях. Но ведь в каждый данный период отбирается именно то из прошлого, что соответствует его духу. Разумеется, была Германия и тевтонских рыцарей, и Канта, и Бетховена, и Страйхера и т.д. Это, допустим, так. Но что делать если во всем этом наборе нет или почти нет ничего либерального? А как быть хотя бы с Россией, в прошлом и настоящем которой — все тот же деспотизм, все то же самодержавие? И если, по вашей теории, на нации отпечатывается ее прошлое, то не придется ли признать, что Советский Союз в принципе не способен предложить что-либо

позитивное ни собственному населению, ни, тем более, остальному миру?

СЕТОН-УОТСОН. О Советском Союзе именно так я и думаю. Но справедливости ради следует помнить и о другой стороне русской традиции. В этой традиции или, говоря точнее, в русском православии, глубоко заложена идея духовной свободы, равенства людей перед Богом. Разве это не заслуживает уважения? Солженицын, настаивая на первостепенном значении именно этого элемента русской традиции, служит доброду делу. Однако он впадает в крайность. Солженицын прав, пытаясь реабилитировать русское прошлое, отвергая стереотипы восприятия любого русского как великана-людоеда, подчеркивая положительное в русской истории. Не всегда с ним соглашаешься, но бывает, что правда и на его стороне. Жаль только, что полемика между ним и его оппонентами не может вестись открыто в самом Советском Союзе.

УРБАН. Солженицын утверждает, что шестидесятилетняя трагедия русского народа, совершенно так же, как и трагедия других народов, которыми, — надо все-таки не забывать — управляли русские, явилась результатом победы в корне чуждой русским марксистско-ленинской идеологии, но никоим образом не следствием органических изъянов русского национального характера. А что же на самом деле: чего больше в советской системе — русского или коммунистического?

СЕТОН-УОТСОН. Всего понемножку, но в конечном счете перевешивает все-таки русская специфика. Переваренный Россией марксизм-ленинизм превратился в новую разновидность русского мессианства. Вернее, наоборот: традиционно русские идеи и русское мессианство оказались основой специфической разновидностью марксизма-ленинизма. Марксизм-ленинизм, конечно, значительно пополнил и без того немалый реестр извращений и жестокостей деспотизма, которыми известна Россия. Но не будь даже марксизма, навряд ли русские были бы счастливы и относились добрососедски друг к другу или иноплеменникам. Многие из их прошлого этого не подтверждает.

УРБАН. Но не правы разве, — пусть хотя бы отчасти, — те из современных русских интеллигентов, которые говорят, что, оказавшись первой жертвой коммунизма, испытав на себе и тем самым разоблачив перед миром, Россия призвана спасти человечество от страшнейшей опасности? Таков уж обновленный вариант русского мессианства: вечно страждущий народ, проходя сквозь очистительный огонь коммунизма, искушает грехи неосвященного Запада. Этот мотив легко прослеживается и у Солженицына, и в великолепном романе Максимова "Семь дней творения". Он всего лишь вариация стародавней темы о бесконечных страданиях русского народа, которые сделали его христианским по преимуществу, блюстителем совести человечества, оборонив от меркантилизма и гниения Запада.

СЕТОН-УОТСОН. Всего этого я не разделяю. Боже храни нас от русских: куда ступит русский солдат, там трава не растет.

Конечно, мы все в долгу у русских солдат, которые воевали на нашей стороне в последней войне и внесли нелегкую лепту в разгром гитлеровской Германии. Да и в начале XIX в. мы, европейцы, должны были благодарить русских за избавление от Наполеона.

Но что мы видим потом? В 1815 г. русские солдаты возвратились домой, чтобы вновь безропотно стать крепостными крестьянами, как в 1945 г. они опять сделались крепостными рабочими Сталина. Внося свой вклад в освобождение, они никогда не умели освобождать самих себя. Это неумение русских вырваться из рабского состояния, даже пожертвовав тысячами жизней ради спасения от рабства других, признавать, ставит меня в тупик. Не эта ли особенность объясняет, почему маленькое московское княжество XIV в. разрослось в империю, которая поглощает все новые и новые территории, насаждая повсюду рабство и тиранию?

Русские, несомненно, заслуживают лучшей участи. Однако в их политическом устройстве, как и в их психологических механизмах, чего-то недостает — какого-то центра притяжения, который собрал бы воедино благородные личные качества русских, их блестящие аналитические способности, которые позволяют им убедительно описывать собственное печальное положение, с волей изменить условия своей жизни. Этот разрыв между

способностью обнажать свои раны и неумением что-либо предпринять ради избавления от них, отличает русских от всех европейских наций. Бог свидетель, не нам растолковывать русским писателям и русским интеллигентам, что творится на их родине. Они думали и писали об этом с такой глубиной, с такой творческой отдачей, о которых на Западе никто и не мечтает. Нет сомнения, что Солженицын, Максимов, Синявский и другие широко известные мыслители и писатели представляют собой лишь вершину айсберга: в России должны быть тысячи других, таких же талантливых, но пока неизвестных. Трагедия, однако, в том, что и они, все вместе, не в состоянии сдвинуть страну с мертвой точки.

УРБАН. А, может быть, эта неспособность русских интеллигентов к практической деятельности — лишь следствие обломщины, вялости, неэффективности? Или, с другой стороны, не вызвана ли эта неспособность подсознательным желанием русских страдать, ибо только при сознании причиняемой им несправедливости расцветает русская душа? Лично мне нежелание Солженицына оставить Россию представляется совершенно естественным: ему *нужен* ГУЛАГ! А ведь даже глухой забор, которым он отгородил свой дом в Вермонте, не заменяет лагерь.

СЕТОН-УОТСОН. Может быть, все это и так. Но нам, глядя с почтительного расстояния, легче восхищаться утонченными отклонениями русской психики, чем тем, у кого русские сидят на шее.

Я, как и вы, не удивился бы нежеланию Солженицына оставить родину, но объяснил бы это иными мотивами. Каждому писателю трудно оторваться от страны, на языке которой он пишет, где он развивается и растет вместе с родным языком.

УРБАН. Оба мы высказали много недоброжелательного и о русском национализме, и о русской империи. Но интересно, что одним из самых острых критиков русского экспансионизма был не кто иной, как сам Карл Маркс. Он видел в панславизме то же самое, что мы теперь видим в коммунизме — орудие распространения московской тирании. В апреле 1853 г. Маркс писал:

"Оказалось бы, что естественная граница России идет от Данцига или Щецина до Триеста. И поскольку одно завоевание неизбежно влечет за собой другое, а одна аннексия — другую, завоевание Турции Россией явилось бы только прелюдией к аннексии Венгрии, Пруссии, Галиции и к окончательному созданию той славянской империи, о которой мечтали фанатичные философы панславизма".

Чтобы охарактеризовать точнее язву, от которой он хотел уберечь Европу, Маркс в 1856 г. добавил:

"Не в суровом героизме норманской эпохи, а в кровавой трясине монгольского рабства зародилась Московия, и современная Россия является ни чем иным, как преобразованной Московией..."

Интересно, если бы Маркс увидел нынешнюю советскую империю, стал ли бы он еврокоммунистом?

СЕТОН-УОТСОН. Маркс резко отрицательно относился ко всему, что делала Россия. Он никогда бы не вынес русскому правительству оправдательного приговора по причине недостатка улик. Если бы мне довелось писать о России времен Маркса, я был бы навсерьеза снисходительнее. Маркс возмущался тем, как в России относились к евреям, хотя его собственные взгляды на еврейский вопрос отнюдь не отличались однозначностью; у него было много друзей среди поляков, к которым Маркс испытывал большую симпатию, и не удивительно, что он разделял мнение многих европейских левых, что Россия — это опаснейшая из диктатур, которую необходимо разгромить.

Возможно, что в нынешних условиях Маркс стал бы еврокоммунистом, но не исключено, что он отказался бы от коммунизма вообще. Съездив туристом в советскую империю и увидев воочию, что там содеяно его именем, он, скорее всего, вернулся бы в Европу потрясенным. Быть может, Маркс сумел бы применить свой метод к анализу советского общества, и, клянусь, этот материал стоило бы почитать! Ни одна марксистская работа о советской империи, — даже исследование восточно-германского еретика Рудольфа Баро, которого я назвал бы коммунистическим Мартином Лютером, — не выдержала бы сравнения с критическим разбором "реального социализма", который проделал бы Маркс.

УРБАН. Вы сказали, что Маркс никогда не оправдал бы русское правительство по причине недостатка улик. Но, говоря по совести, ни Маркс, ни Энгельс, ни под каким видом не оправдали бы и русский народ, и русский национальный характер. Ведь именно Маркс не раз подчеркивал, что в политике русского государства есть неизменная преемственность, что русские отождествляют себя со своим государством, что на России лежит несмываемый отпечаток ее прошлой истории и т.д. Интересно, что по характеру этих суждений Маркса их трудно считать марксистскими. Скорее они — антимарксистские.

Что бы ни утверждал в своих теоретических трудах или публицистических статьях Маркс, как бы ни истолковывал он проблемы новой истории, его высказывания по национальному вопросу созвучны вашим: "Нации не свободны от своей истории; индивидуумам не дано выбирать себе национальность".

СЕТОН-УОТСОН. Да, и именно поэтому Маркс верно отметил роковую преемственность русского экспансионизма от времен Святослава (VIII в.) до Николая I: оба они угрожали Константинополю. И надо ведь отдать ему должное: Маркс это признал, несмотря на то, что это не укладывалось в его собственную концепцию истории.

Современные завоевательные успехи русско-советского империализма еще больше убедили Маркса и Энгельса, что национальная преемственность не прерывается, а возможности русско-советской империи нести с собою "монгольское рабство" сейчас несравнимы с теми, к которым они стремились при жизни.

УРБАН. История полна парадоксами. Ведь именно Энгельс написал 18 июня 1848 г. блистательную статью "Пражское восстание", а 13 января того же года "Венгерская борьба".

СЕТОН-УОТСОН. Будь Маркс и Энгельс живы, они могли бы, несколько подновив, послать свои работы советским вождям и призвать пролетариев всех стран к борьбе против реакционной диктатуры Москвы.

№ 5-6, 1982 г.